

ВИРЖИНИЯ ВУЛФ

# На маяк



Магистраль. Главный тренд

Вирджиния Вулф

**На маяк**

«ЭКСМО»

1927

УДК 821.111-31  
ББК 84(4Вел)-44

## **Вулф В.**

На маяк / В. Вулф — «Эксмо», 1927 — (Магистраль. Главный тренд)

ISBN 978-5-04-199686-4

«На маяк» – книга категорически необычная. Два дня, разделенные десятилетним промежутком времени. Изображенные идеи, настроения и духовный опыт. Память, с помощью которой постепенно и незаметно в этот тонкий и изящный роман входит большая жизнь. Таково самое знаменитое произведение Вирджинии Вулф. На его страницах большая семья Рэмзи, проводя лето на острове Скай, мечтает отправиться к маяку, который виден с их берега. Ежедневно миссис Рэмзи сообщает, что отец отвезет их туда на следующий день. Однако поездка все откладывается и откладывается. Описав эту историю, Вулф сумела нарисовать причудливый объемный рисунок человеческих взаимоотношений и рассказать, как и что думают женщины и мужчины, пока их никто не слышит.

УДК 821.111-31

ББК 84(4Вел)-44

ISBN 978-5-04-199686-4

© Вулф В., 1927

© Эксмо, 1927

# Содержание

Окно	6
1	6
2	12
3	13
4	15
5	19
6	21
7	24
8	26
9	29
Конец ознакомительного фрагмента.	32

# Вирджиния Вулф

## На маяк

Virginia Woolf

TO THE LIGHTHOUSE

Д. Целовальникова, перевод на русский язык, 2024

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2024

## Окно

### 1

– Конечно, если погода будет хорошая, – сказала миссис Рамзи. – Но встать придется спозаранку.

Ее сына это необычайно обрадовало, будто все решено, экспедиция непременно состоится и чудо, которого он ждал, казалось, долгие-долгие годы, в пределах досягаемости – только ночь переждать, и можно плыть. Хотя мальчику было всего шесть лет, он принадлежал к великому клану тех, кто не способен отделять одно чувство от другого, зато позволяет будущим перспективам, со всеми их радостями и печалью, затуманивать то, что находится прямо под носом, поскольку для подобных людей даже в раннем детстве любой поворот колеса эмоций способен преобразовать и пронизать текущий момент насквозь, погрузив в сумрак или ярко осветив; и для Джеймса Рамзи, который сидел на полу с ножницами и вырезал картинки из иллюстрированного каталога Универмага армии и флота, благодаря обещанию матери изображение холодильника преисполнилось неземного блаженства. Радость окаймляла его, словно бахрома. Ручная тележка, газонокосилка, шелест тополей, побелевшая перед дождем листва, грачиний грай, стук швабры, шуршанье платья – все это представало в сознании Джеймса красочным и особенным, потому что у него уже сложился личный свод сигналов, некий тайный язык, хотя со стороны создавалось впечатление, что нрав у мальчика суровый – высокий лоб хмурится при виде человеческих слабостей, голубые глаза, безупречно искренние и чистые, глядят пронзительно, – и мать, наблюдавшая, как аккуратно он ведет ножницами вокруг холодильника, представляла, что сын будет восседать в парламенте в алой мантии, отороченной горностаем, или возглавит какую-нибудь отрасль исключительной важности в кризисный для страны момент.

– Не будет, – заявил отец, останавливаясь перед окном гостиной.

Случись под рукой топор, кочерга или еще что-нибудь острое, чем можно проделать в груди дыру и убить, Джеймс схватил бы его не раздумывая. Вот такие перепады эмоций вызывал у своих детей мистер Рамзи одним лишь присутствием; и сейчас он стоял стройный, как клинок, безжалостный, как лезвие, и язвительно ухмылялся, не только радуясь тому, что развеял иллюзии сына и выставил на посмешище жену, которая в десять тысяч раз лучше его (думал Джеймс), но также тайно кичась своей правотой. Увы, он сказал правду, как всегда. На ложь мистер Рамзи был совершенно неспособен – никогда не искажал фактов, никогда не избегал неприятного слова, чтобы угодить или польстить любому смертному, а в меньшей степени собственным детям, плоть от плоти его; они с детства усвоили, что жизнь трудна, факты непреложны, и для перехода в землю обетованную, где гаснут наши самые светлые надежды, где наши хрупкие барки во мраке идут ко дну (здесь мистер Рамзи расправил бы плечи и прищурился, глядя на горизонт маленькими голубыми глазками), прежде всего требуются мужество, правда и стойкость.

– А может, и будет – надеюсь, что будет, – сказала миссис Рамзи, с досадой крутанув на спицах красновато-коричневый чулок. Если успеет закончить сегодня, если они все-таки поедут на маяк, то отдаст зрителю для его маленького сынишки, у которого подозревают туберкулез бедренной кости; вместе со стопкой старых журналов, табаком и всем, что валяется по дому, никому особо не нужное – беднякам, наверное, до смерти наскучило сидеть день-деньской без дела, ведь сколько можно надраивать лампу, подрезать фитиль и копаться на узкой полоске земли; чтобы хоть как-то развлечься, сгодится что угодно. Кому понравится сидеть по месяцу или даже больше, если разыграется шторм, на скале размером с теннисную

площадку? – спрашивала миссис Рамзи, – без писем и без газет, ни с кем не видясь; каково людям семейным вдали от жены и детей, не зная, вдруг те заболели, вдруг упали и поломали руки-ноги; каково смотреть неделя за неделей на одни и те же унылые волны, а потом грянет страшный шторм – в окна летят соленые брызги, птицы бьются о лампу, все здание раскачивается, и ты не можешь носа за дверь высунуть, чтобы не унесло в море? Как вам такое понравится? – спрашивала она, обращаясь прежде всего к дочерям. Поэтому, заключила она немного сбивчиво, нужно снабжать их любыми полезными мелочами, какими получится.

– Дует прямо на запад, – сообщил Тэнсли-атеист, сопровождавший мистера Рамзи на вечерней прогулке по террасе, и растопырил на ветру костлявые пальцы. Он имел в виду, что для высадки на маяке направление ветра наиболее неудачное. Тэнсли и в самом деле говорит пренебрежительные вещи, признала миссис Рамзи, с его стороны просто гадко талдычить одно и то же и расстраивать Джеймса еще больше, но в то же время в обиду она его не даст. Домашние прозвали Тэнсли атеистом, мелким атеистом. Над ним потешалась Роуз, потешалась Прю; над ним издевались Энди, Джаспер, Роджер, даже старый беззубый Бэджер умудрился его тяпнуть, потому что (как выразилась Нэнси) Тэнсли имел наглость стать сто десятым по счету молодым человеком, который увязался за ними до самых Гебридов, хотя побыть одному намного приятнее.

– Чушь! – сурово отрезала миссис Рамзи. В отличие от склонности к преувеличению, унаследованной детьми от нее, и справедливого намека на то, что она приглашает слишком многих и для них даже приходится снимать жилье в городе, неучтивости к своим гостям она не прощала, особенно к молодым людям – бедным как церковные мыши, «необычайно одаренным юношам», как выразился ее муж, почитателям его таланта, которые приезжали к ним на каникулы. Безусловно, противоположный пол миссис Рамзи взяла под свою защиту, причем по непонятным даже для нее самой мотивам – то ли из-за присущего мужчинам рыцарского духа, то ли из-за того, что они заключают международные договоры, управляют Индией, контролируют финансы, то ли из-за доброго отношения к ней, ведь любая женщина чувствует и ценит доверительное, по-детски простое, почтительное обращение; женщина немолодая вправе принимать его, не теряя достоинства, и горе той девушке – не дай Бог ею станет одна из ее дочерей! – которая неспособна этого оценить и прочувствовать до мозга костей!

Она строго осадил Нэнси. Тэнсли за ними вовсе не увязался – его пригласили.

Нужно что-нибудь придумать, вздохнула она. Возможно, найдется выход более простой, менее затратный. Глядя в зеркало на свои седеющие волосы, на запавшие щеки, миссис Рамзи думала, что в пятьдесят лет могла бы справляться и лучше – и с мужем, и с деньгами, и с его книгами, однако о принятом решении ни секунды не жалела, от трудностей не уклонялась и своими обязанностями не пренебрегала. Сейчас, после отповеди за Чарльза Тэнсли, вид у нее был грозный, и ее дочери – Прю, Нэнси, Роуз – молча переглядывались поверх тарелок, легкомысленно лелея кощунственные замыслы о совершенно другой жизни где-нибудь в Париже, жизни праздной, без лишних забот; судя по лицам, они изрядно сомневались в рыцарском духе, Банке Англии и Индийской империи, перстнях и кружевах, хотя и не могли не признать во всем этом красоту, что пробуждало в девичьих сердцах отвагу и заставляло, пока они сидели за столом под пристальным взглядом матери, больше ценить ее непривычную строгость и предельную обходительность; так королева оmyвает грязные ноги нищего, преклонив колена; так и их мать устроила им выговор из-за несчастного атеиста, что увязался – точнее сказать, принял приглашение пожить у них на острове Скай.

– Завтра у маяка точно не причалить, – заявил Чарльз Тэнсли и хлопнул в ладоши, стоя у окна рядом с ее мужем. Наговорил он достаточно! Почему бы не оставить их с Джеймсом в покое и не продолжить свою беседу? Она посмотрела на него. Жалкий тип, как сказали ее дети, просто недоразумение ходячее. В крикет не играет, всех шпыняет, всюду сует свой нос. Эндрю назвал его язвой. Они-то знали, что нравится ему больше всего – расхаживать взад-

вперед с мистером Рамзи и говорить о чужих достижениях: кто в университете «первоклассный знаток» стихотворной латыни, кто «блестящий ум, но, полагаю, совершенно порочный», кто «безусловно, самый способный парень в Баллиоле», кто зарыл свой талант во второсортном университете вроде Бристольского или Бредфордского, но о нем еще услышат, когда его пролегомены то ли по математике, то ли по философии – в доказательство мистер Тэнсли готов представить мистеру Рамзи первые страницы, если угодно, они у него с собой – наконец увидят свет. Вот о чем они вечно говорят.

Порой миссис Рамзи не могла удержаться от смеха. На днях она сказала, что «волны высоки как горы». Да, согласился Чарльз Тэнсли, море слегка волнуется. «Разве вы не вымокли до костей?» – спросила она. «Сыровато, но не настолько», – ответил Тэнсли, пощупав рукава и носки.

Однако детей раздражали в нем вовсе не манеры и не выражение лица. Дело было в самом Тэнсли – в его образе мыслей. Стоило завести речь о чем-нибудь интересном – о людях, о музыке, об истории – о чем угодно, стоило просто сказать, что вечер погожий и почему бы не посидеть на свежем воздухе, как Чарльз Тэнсли тут же норовил перевернуть все с ног на голову, перевести разговор на себя любимого, да еще унижить их! Даже придя в картинную галерею, он непременно спросит, нравится ли им его галстук. Видит Бог, воскликнула Роуз, кто такое выдержит?

Восемь сыновей и дочерей мистера и миссис Рамзи исчезли сразу после ужина, словно быстроногие олени, отправившись по своим комнатам, ведь в этом доме им больше нигде было уединиться и что-нибудь обсудить – да все, что угодно, вроде галстука Тэнсли, реформы избирательной системы, морских птиц и бабочек, прислуги; а в залитых солнцем комнатках на чердаке, разделенных лишь тонкими перегородками, из-за чего был слышен каждый шаг и рыдания швейцарской девушки, чей отец умирал от рака в альпийской долине Граубюнден, лучи падали полосами на крикетные биты, спортивные брюки, соломенные шляпы, чернильницы, баночки с краской, жуков и мелкие птичьи черепа, выпаривая запах соли из висящих по стенам пучков длинных водорослей и пляжных полотенец, шершавых от вьезшего песка.

Жаль, что раздоры, разногласия, предубеждения вплелись в самую ткань их бытия столь рано, сокрушалась миссис Рамзи. Дети такие мелочные, несут сплошную чушь! Она вышла из столовой, держа Джеймса за руку, потому что идти с остальными он не хотел. Что за ерунда, зачем выдумывать различия, если люди и так все разные? В жизни и без того хватает различий, думала она, стоя у окна гостиной. К примеру, между богатыми и бедными, знатными и простыми: ведь и сама она невольно питала уважение к высокому происхождению, поскольку в жилах ее текла кровь весьма благородного, хотя и полумифического итальянского рода, чьи дочери в девятнадцатом веке расселились по гостиним всей Англии, так очаровательно пришепелявая, так бурно проявляя чувства, и всем своим остроумием, манерой держаться, темпераментом она обязана им, а вовсе не апатичным англичанам или флегматичным шотландцам. Но гораздо глубже она погрузилась в размышления о другой проблеме – о богатых и бедных, о том, что видела своими глазами еженедельно, ежедневно и здесь, и в Лондоне, лично навещая бедную вдову или измотанную нуждой жену, входя в чужой дом с сумкой, блокнотом и карандашом, которым записывала в аккуратно разлинованные колонки заработную плату и расходы занятых и безработных, надеясь таким образом из обычной женщины, чья благотворительность служит попыткой отчасти задобрить свое негодование, отчасти облегчить любопытство праздного, неразвитого ума, сделаться отважным исследователем, изучающим социальную проблему.

И в самом деле, вопросы неразрешимые, думала миссис Рамзи, держа ребенка за руку. Нелепый молодой человек, над которым все потешались, увязался за ней в гостиную и теперь маячил возле стола, неловко теребя что-то в руках и чувствуя себя лишним. Все остальные

ушли – дети, Минта Дойл с Полом Рэйли, Август Кармайкл, ее муж – все. Она вздохнула и спросила: «Вам не скучно будет прогуляться со мной, мистер Тэнсли?»

Пара рутинных дел в городе, нужно написать пару писем – минут через десять она будет готова, только шляпу наденет. И десять минут спустя миссис Рамзи вернулась с корзинкой и зонтиком, давая понять, что готова, полностью экипирована для прогулки, которую пришлось ненадолго прервать, когда они проходили мимо теннисной площадки, чтобы спросить у мистера Кармайкла, с блаженством развалившегося на солнышке и шутившего желтые кошачьи глаза – в них отражались ветви деревьев и бегущие по небу облака, но ни намека на мысли или чувства, – не нужно ли ему чего.

Грядет великая экспедиция, со смехом объяснила миссис Рамзи. Вылазка в город. «Марки, писчая бумага, табак?» – подсказала она, останавливаясь неподалеку. Нет, ничего не нужно. Руки сомкнулись на объемистом животе, глаза замигали, словно он хотел ответить на ее уговоры со всей любезностью (так обаятельна, пусть и слегка нервозна), но не смог, утонув в серо-зеленой дремоте, обволакивающей их без лишних слов безбрежной и благодатной летаргией доброжелательности – весь дом, весь мир, всех людей – как думали дети, за ланчем он добавил себе пару капель настойки, оставившей на молочно-белых усах и бороде канаречно-желтый след. Нет, ничего, пробормотал мистер Кармайкл.

Из него вышел бы великий философ, заметила миссис Рамзи, шагая по дороге к рыбацкой деревушке, но помешала неудачная женитьба. Держа зонтик очень прямо и двигаясь с неопишуемой грацией, словно предвкушая приятную встречу прямо за углом, она рассказывала его историю: роман в Оксфорде, ранний брак, нищета, поездка в Индию, перевод поэзии («очень красивой, полагаю»), желание учить мальчиков персидскому или хиндустани, хотя какой в этом толк? – а теперь просто лежит, как они только что видели, на лужайке.

Несмотря на пренебрежение остальных домочадцев, откровенность миссис Рамзи ему польстила. Чарльз Тэнсли воспрянул духом. Намекнув на превосходство мужского интеллекта, даже в упадке, на необходимость всем женам подчиняться – она не винила девушку, ведь брак наверняка был довольно счастливым, – отдавать себя целиком заботе о мужьях, она заставила Тэнсли гордиться тем, что он уже успел в жизни, и ему захотелось взять кеб, к примеру, и оплатить поездку. Как насчет сумочки – он мог бы ее понести. Нет-нет, ответила миссис Рамзи, она всегда справляется сама. Да, так и есть. В ней чувствовалось что-то такое. В ее присутствии он ощущал непонятное волнение и трепет, сам не понимая почему. Ему хотелось, чтобы она увидела его в мантии с капюшоном, шагающим среди других магистров. Аспирантура, должность профессора – он был готов на все и видел себя... На что она смотрит? Человек клеит плакат. Огромный, хлопающий на ветру лист распластался, и каждый взмах кисти открывал голые ноги, обручи, лошадей, сверкающие красные и синие попоны, такой красивый и гладкий – пока полстены не заняла цирковая афиша; сотня наездников, двадцать дрессированных тюленей, львы, тигры... Подавшись вперед и близоруко шурясь, миссис Рамзи прочла: «Приезжают в город». Какое опасное занятие для однорукого, воскликнула она, стоять на самом верху лестницы – два года назад ему отрезало жаткой левую руку.

– Давайте сходим все вместе! – вскричала она, при виде наездников и лошадей обрадовавшись, как дитя, и позабыв про жалость.

– Давайте, – согласился он, повторяя ее слова, однако проговорил их с таким смущением, что она поморщилась. – Давайте сходим в цирк все вместе.

Нет, не может он произнести их правильно. Не может их прочувствовать. Почему же, задумалась миссис Рамзи. Что с ним не так? Сейчас Тэнсли вызывал у нее самые теплые чувства. Разве вас не водили в цирк в детстве, удивилась она. Никогда, ответил он с готовностью, словно именно этого вопроса и ждал, мечтая признаться, что в цирк их не водили. Семья большая, девять братьев и сестер, отец много работал. «Мой отец – аптекарь, миссис Рамзи. У него своя аптека». Чарльз привык обеспечивать себя сам с тринадцати лет. Зимой он часто не

мог себе позволить теплое пальто. В колледже никогда не мог «оказать ответное гостеприимство», сухо и церемонно пояснил он. Ему приходилось пользоваться вещами в два раза дольше, чем другим, курить самый дешевый табак – махорку, как старикам в порту. Он тяжело работал, по семь часов в день, и теперь изучал влияние чего-то на кого-то – они шли дальше, и миссис Рамзи не вполне улавливала смысл, только слова, слова, слова... Диссертация, стипендия, доцентура, лекции. Она не поспевала за уродливым академическим жаргоном, звучащим весьма напыщенно, зато поняла, почему предложение сходить в цирк выбило беднягу из колеи, почему он бросился рассказывать про отца и мать, про братьев и сестер, и теперь она позаботится о том, чтобы над ним больше не потешались, – она все-все объяснит Прю. Пожалуй, подумала она, ему больше понравилось бы рассказывать всем, как он ходил с семейством Рамзи не в цирк, а на Ибсена. Что за ужасный педант – просто невыносимый зануда! Хотя они уже добрались до городка и шли по центральной улице, где по булыжной мостовой грохотали телеги, он продолжал вещать про выбранное поприще, про простых трудяг, про помощь своему классу и про лекции, пока до нее не дошло, что Тэнсли обрел былую уверенность, вполне оправился после цирка и вот-вот расскажет ей про (миссис Рамзи снова преисполнилась теплых чувств)... Внезапно дома расступились – перед ними лежала бухта. Миссис Рамзи восхищенно воскликнула: «Как красиво!» Посредине огромной голубой глади виднелся далекий, суровый, старый маяк, справа, насколько хватало глаз, мягкими складками тянулись поросшие буйной зеленью песчаные дюны, навевая мысли о безлюдном лунном ландшафте.

Этот вид, сказала она, останавливаясь и глядя на море потемневшими глазами, ее муж особенно любит. Миссис Рамзи помолчала. Теперь бухту облюбовали художники, заметила она. И в самом деле, неподалеку стоял один, в панаме и желтых ботинках, важный, неторопливый, и увлеченно вглядывался в даль, не обращая внимания на ватагу наблюдающих за ним маленьких мальчиков, насмотревшись, макал кончик кисти в мягкий оттенок зеленого или розового. С тех пор как три года назад тут побывал мистер Понсфорт, все картины стали одинаковыми – зеленовато-серые, с лимонными яхтами и розовыми женщинами на пляже.

То ли дело друзья ее бабушки, сказала миссис Рамзи, мельком взглянув на картину, вот кто не жалел сил, выдумывая свою палитру: сами смешивали пигменты, сами растирали краски, а потом прикрывали влажными тряпками, чтобы не засохли.

Насколько понял Тэнсли, она имеет в виду, что картина того художника посредственная? Краски недостаточно добротны? Так вроде говорят? Под влиянием необычайного чувства, которое росло в нем всю прогулку, зародилось в саду, когда ему захотелось понести ее сумку, усилилось в городе, когда ему захотелось рассказать про себя, он увидел себя и все, что знал прежде, в несколько ином, искаженном свете. Ужасно странно!

Он стоял в гостиной убогого домишки и ждал, пока миссис Рамзи повидается с женщиной, которую пришла навестить. Слушая над головой торопливые шаги, жизнерадостный, потом приглушенный голос, Тэнсли разглядывал салфетки, коробочки для чая, абажуры и ждал с нетерпением, намереваясь нести ее сумку; услышал, как она выходит, хлопает дверью, говорит, что окна нужно держать открытыми, а двери – наоборот, спрашивает у кого-то в доме, не нужно ли чего (наверное, у ребенка), и вдруг она вернулась, молча постояла (словно там, наверху, притворялась, теперь же вновь стала собой), неподвижно замерев под картиной королевы Виктории с синей лентой ордена Подвязки на плече, и внезапно он понял, понял главное: красивее женщины он не встречал!

В глазах ее звезды, вуаль в волосах, цикламены и дикие фиалки – что за чушь лезет в голову?! Ей по меньшей мере пятьдесят, у нее восемь детей! Идет по цветущим лугам, прижимая к груди сломанные веточки, упавших оленят, в глазах – звезды, в волосах – ветер... Он взял у нее сумку.

– Всего хорошего, Элси, – проговорила она и вышла на улицу, держа зонтик очень прямо и двигаясь с неопишуемой грацией, словно предвкушая приятную встречу прямо за углом, и

Чарльз Тэнсли впервые в жизни почувствовал необычайную гордость; рывший канаву человек перестал рыть и уставился на миссис Рамзи, уронил руку и смотрел, и впервые в жизни Чарльз Тэнсли почувствовал необычайную гордость, почувствовал порыв ветра, запах цикламенов и фиалок, потому что шел с красивой женщиной. И наконец взял у нее сумку.

## 2

– На маяк завтра не поедешь, Джеймс, – сказал Тэнсли, из уважения к миссис Рамзи пытаюсь смягчить голос и изобразить хотя бы подобие участия.

Ну что за жалкий тип, подумала она, к чему твердить одно и то же?

### 3

– А может, ты проснешься и увидишь, что солнышко светит и птички поют, – сочувственно проговорила миссис Рамзи, глядя ребенка по голове. Она видела, как сильно Джеймсу хочется поехать на маяк, как расстроило его ядовитое замечание отца о непогоде, и тут еще этот жалкий тип влез и талдычит одно и то же.

– Может, завтра распогодится, – повторила она, приглаживая его волосы.

Теперь оставалось лишь восхищаться холодильником и листать каталог универмага в надежде найти грабли или газонокосилку, чьи зубцы и рукоятки нужно вырезать с огромным мастерством и аккуратностью. Все эти юнцы склонны подражать ее мужу, стоит ему сказать, что будет дождь, так они предрекают по меньшей мере торнадо.

Едва она перевернула страницу, как поиски подходящей картинки с граблями или газонокосилкой прервались. Приглушенный гул грубых голосов, нарушаемый лишь курением трубок, недвусмысленно свидетельствовал, что мужчины благополучно беседуют, хотя слов миссис Рамзи не могла разобрать (она сидела у открытого окна, выходящего на террасу), и вдруг этот звук, длившийся добрых полчаса и перекрывавший все прочие, вроде ударов крикетных бит по мячу, пронзительных детских криков «Ну как? Ну как?», внезапно стих, и монотонный прибой, задававший ровный, спокойный темп ее мыслям, пока она сидела с детьми, утешительно повторявший слова старой колыбельной, которую, казалось, шепчет сама природа: «Я тебя сберегу, я беду отведу», в иные моменты внезапно и совершенно неожиданно, в особенности когда она отвлекалась от повседневных забот, утрачивал всю благостность, грохотал призрачной барабанной дробью и безжалостно отмерял ход жизни, навевал мысли о гибели острова в морской пучине, предупреждал ее, чьи дни стремительно пролетали, об эфемерности всего сущего – этот звук, который до недавнего времени скрывался иными звуками, гулко прогремел в ее ушах и заставил в ужасе поднять взгляд.

Разговор прервался – вот в чем дело. Словно в отместку за ненужный расход эмоций, миссис Рамзи вмиг перешла от чрезвычайного напряжения в другую крайность – ей стало спокойно, весело, и она даже позволила себе толику злорадства: судя по всему, Чарли Тэнсли ретировался. Ее это ничуть не встревожило. Если мужу надобна жертва, пусть берет Чарли Тэнсли, который так третирует ее маленького сына!

Еще мгновение она прислушивалась, подняв голову, в ожидании привычного шума, ровного механического звука; затем из сада донеслась ритмичная фраза – то ли стих, то ли песня, – муж расхаживал по террасе взад-вперед, хрипло напевая себе под нос, и миссис Рамзи утешилась вновь, уверившись, что все в порядке, опустила взгляд на каталог и сразу обнаружила подходящую картинку – перочинный нож с шестью лезвиями, который Джеймс сможет вырезать, только если очень постарается.

Внезапно раздался громкий крик, напоминающий вопль разбуженного лунатика, что-то вроде

#### *Под шквалом шрапнели и снарядов <sup>1</sup>*

резануло по ушам, заставив миссис Рамзи испуганно оглянуться – не услышали бы посторонние! К счастью, кроме Лили Бриско, поблизости не было никого, а она не в счет. При виде мольберта на краю лужайки миссис Рамзи вспомнила, что должна позировать с опущенной головой для картины Лили. Картина Лили! Миссис Рамзи улыбнулась. С узкими китайскими

---

<sup>1</sup> Здесь и далее мистер Рамзи декламирует стихотворение Альфреда Теннисона «Атака легкой кавалерии», посвященное битве при Балаклавке во время Русско-турецкой войны 1854 года. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

глазками и мелкой мордашкой ей никогда не выйти замуж, да и художества ее принимать всерьез не стоит, впрочем, миссис Рамзи нравилась независимая девушка, и она опустила голову, помня свое обещание.

## 4

На самом деле он едва не опрокинул мольберт, выскочив прямо на нее, размахивая руками и вопя во все горло: «Храбро мы мчались вперед!», но, к счастью, вовремя осадил и поскакал дальше, как поняла Лили, чтобы пасть смертью храбрых на высотах Балаклавы. До чего смешон и в то же время страшен! И все же, пока мистер Рамзи ведет себя подобным образом, мечется и кричит, ей ничего не угрожает – он не остановится и не будет смотреть на картину. Лили Бриско этого не выносила. Разглядывая композицию, линии, цвета, миссис Рамзи, сидящую у открытого окна с Джеймсом, девушка настороженно наблюдала за окрестностями, чтобы никто не подкрался незамеченным и не подсмотрел. Чувства ее обострились до предела, от стены и клематиса Жакмана рябило в глазах, и тут она почувствовала, что кто-то выходит из-за дома и приближается к ней; по походке угадала Уильяма Бэнкса, и, хотя кисть в руке дрогнула, Лили не стала переворачивать холст, как сделала бы при появлении мистера Тэнсли, Пола Рэйли, Минты Дойл или любого другого. Позади нее остановился Уильям Бэнкс.

Оба снимали жилье в деревне и, входя и выходя, расставаясь вечером у дверей, иногда обменивались замечаниями о супе, о детях, о том о сем, что сделало их союзниками, и теперь он стоял позади нее с бесстрастным видом (по возрасту он годился ей в отцы – ботаник, вдовец, благоухает мылом, крайне щепетильный и опрятный), и она осталась на месте. Он отметил, что туфли у нее превосходные, широкие, движений пальцев не стесняют. Проживая с ней в одном доме, он также обратил внимание, как регулярно она занимается живописью – встает задолго до завтрака и пишет картины в одиночестве; вероятно, бедна, и ни милость, ни обаяние мисс Дойл ей несвойственны, зато она весьма проникательна, что намного предпочтительнее. К примеру, когда Рамзи обрушился на них, крича и размахивая руками, мисс Бриско наверняка все поняла.

*Допущена фатальная ошибка!*

Мистер Рамзи смотрел на них пристально. Он смотрел на них, не видя. Почему-то обоим стало неудобно. Они увидели то, что не предназначалось для чужих глаз, вторглись в чужую жизнь. Вероятно, подумала Лили, поэтому мистер Бэнкс почти сразу и решил покинуть пределы слышимости, воспользовавшись первым подходящим предлогом: сказал, что стало прохладно, и пригласил ее немного пройтись. Да, она пойдет. Но взгляд от картины Лили оторвала с большим трудом.

Клематис пылал лиловым, стена была ослепительно-белой. Лили не решилась бы нарушать оригинальные цвета, потому что видела их именно такими, хотя в свете новейших веяний, особенно после визита мистера Понсфорта, полагалось видеть все в бледных, изысканных, полупрозрачных оттенках. А ведь кроме цвета, есть еще и форма... Она видела все так четко, так уверенно, однако стоило взять в руки кисть, как все менялось. Именно в тот миг, когда она переводила взгляд с природы на холст, ее охватывали сомнения, порой доводя до слез и делая переход от замысла к творению устрашающим, как темный коридор для ребенка. Ей часто приходилось бороться изо всех сил, чтобы сохранить самообладание, сказать себе: «Но я ведь так вижу, я вижу именно так» и тем самым прижать жалкие остатки своего видения к груди, борясь с неисчислимым воинством, норовящим вырвать его прямо из рук. Ощущая гнетущее чувство тревоги, она начинала писать, и на нее разом обрушивалось все – и собственная ничтожность, и бесталанность, и необходимость заботиться об отце, живущем на задворках Бромптон-роуд, и так и тянуло броситься (слава небесам, до сих пор ей удавалось сдерживать порыв) перед миссис Рамзи на колени и воскликнуть – но что она могла сказать? Я влюблена

в вас? Нет, неправда. Я влюблена в это все! – и обвести рукой зеленую изгородь, дом, детей. Нелепо, немислимо!..

Лили аккуратно сложила кисти в ящичек и сказала Уильяму Бэнксу:

– Холодает теперь быстро. Видимо, солнце дает меньше тепла, – проговорила она, оглянувшись по сторонам. Хотя было еще достаточно светло, трава росла мягкая и пышная, дом утопал в зелени и лиловых страстоцветках, грачи роняли спокойные крики из высокой синевы, в воздухе что-то чувствовалось – сверкнуло, промелькнуло серебристым крылом. Уже сентябрь, середина сентября, и седьмой час вечера. И они отправились по саду привычным маршрутом, мимо площадки для игры в теннис, мимо пампасной травы к прогалу в густой изгороди, по бокам которого часовыми стояли книпхофии, пламенея, словно горящие угли, и сквозь них синие воды залива казались необычайно яркими.

Они исправно приходили туда каждый вечер, влекомые непонятной нуждой. Как будто в морской воде их застывшие на берегу мысли оживали и отправлялись в свободное плаванье, и тела испытывали буквально физическое облегчение. Синевя пульсировала, сердце расширялось с ней вместе, и тело пускалось вплавь, через миг врезалось в колючую черноту мятущихся волн и замирало. Изредка из-за огромной черной скалы вырывался белый фонтан воды; ждать его приходилось долго, а видеть было радостно, и в томительном ожидании на бледном полукруглом берегу они наблюдали, как гладкая волна набегает на волну, затягивая залив перламутровой пленкой.

Стоя там, они улыбались. Оба чувствовали общее оживление, радуясь бегу волн и плавным движениям парусника, который заложил вираж и остановился, дрогнул, и паруса опали; повинувшись естественному стремлению завершить картину, оба перевели взгляд на дюны вдалеке и внезапно ощутили печаль, отчасти потому, что картина приобрела законченный вид, отчасти потому, что дальние виды переживут любого наблюдателя на миллион лет (подумала Лили) и уже соединились с небом, созерцающим погруженную в покой землю.

Глядя на далекие песчаные холмы, Уильям Бэнкс подумал о Рамзи посреди Вестморленда, представил, как тот бредет по сельской дороге, окруженный столь типичным для него ореолом одиночества. Внезапно Бэнксу вспомнился реальный случай: курица растопырила крылья, защищая выводок цыплят, и Рамзи остановился, ткнул тростью и проговорил: «Мило, очень мило!», явив себя с совершенно неожиданной стороны – показав свою простоту и добродушие, но именно после этого, мнилось Бэнксу, их дружба сошла на нет. Вскоре Рамзи женился. То одно, то другое, и дружба измельчала. Он не мог бы сказать, чья в том вина, просто через некоторое время новизна сменилась однообразием. При встречах они лишь повторяли уже сказанное. Тем не менее в безмолвном диалоге с песчаными дюнами он осознал, что привязанность к Рамзи ничуть не угасла, и, как тело юноши, пролежавшее в торфяных болотах целое столетие, сохранило алость губ, так и дружба, погребенная в дюнах возле залива, не утратила ни остроты, ни истинности.

Во имя этой дружбы и, вероятно, желания убедить себя, что вовсе не очерствел и не скукожился – ведь Рамзи живет с выводком детей, в то время как Бэнкс бездетный вдовец, – ему не хотелось, чтобы Лили Бриско недооценивала Рамзи (человека по-своему великого) и все же поняла, что стоит между ними. Начавшись много лет назад, их дружба исчерпала себя на сельской дороге в Вестморленде, где курица растопырила крылья, защищая своих цыплят. Рамзи женился, пути их разошлись, в чем нет ничьей вины, и при встречах оба стали повторяться.

Вот, собственно, и все. Он закончил, повернулся к заливу спиной. Собравшись идти обратно другим путем, по подъездной дорожке, мистер Бэнкс внезапно осознал то, чего не понял бы без откровения песчаных холмов, без тела с алыми губами, погребенного в торфяных болотах – к примеру, сейчас малышка Кэм, младшая дочь Рамзи, рвала на берегу душистую резеду. Взбалмошная вредина! Отказалась «дать джентльмену цветочек», как велит няня. Нет-

нет-нет! Ни за что! Сжала кулачок, затопала ножками. Мистер Бэнкс почувствовал себя старым, загрустил и понял, что дружба ни при чем. Пожалуй, он все-таки очерствел и скукожился.

Рамзи небогаты, и просто удивительно, как им удается сводить концы с концами. Восемь отпрысков! Содержать восьмерых детей за счет философии! Вот и еще один прошел мимо, на этот раз Джаспер, собрался птиц пострелять, беззаботно сообщил он, покачивая руку Лили, словно рычаг насоса, и мистер Бэнкс с горечью заметил: она-то пользуется у них успехом. К тому же всех следует выучить (правда, у миссис Рамзи могут быть и свои средства), не говоря о постоянных расходах на ботинки и чулки для этих славных ребят – рослых, задиристых, бессердечных юнцов. Он особо не различал, кто из них кто, кто за кем идет, поэтому про себя окрестил их в честь английских королей и королев: Кэм Злая, Джеймс Бесщадный, Эндрю Разумный, Прю Красивая – ведь Прю наверняка вырастет красавицей, тут уж ничего не поделаешь, а Эндрю – умницей. Поднимаясь по дорожке, Лили Бриско отвечала «да» и «нет», отмечала критические замечания в их адрес (она любила всех Рамзи поголовно, любила весь свет), а мистер Бэнкс тем временем размышлял о положении Рамзи, то сочувствовал ему, то завидовал, ведь все происходило у него на глазах – тот добровольно отказался от ореола уединения и аскетизма, венчавшего его в юности, обременил себя многочисленным семейством, над которым теперь кудахтал, расправив крылышки. Следует признать, подобная жизнь не лишена кое-каких радостей – к примеру, приятно, когда малютка Кэм продает цветок тебе в петличку или залезает на плечи, как к отцу, чтобы посмотреть на картину извращения Везувия, но старые друзья видят: дети в нем что-то сломали. Интересно, что думают посторонние? Что думает Лили Бриско? Разве никто не замечает его странных повадок? Чуждачеств, даже слабостей? Поразительно, насколько человек подобного ума низко пал – нет, пожалуй, слишком сильно сказано – падок на похвалу.

– Да, но подумайте о его работе! – воскликнула Лили.

Всякий раз, «думая о его работе», она представляла большой кухонный стол. Так вышло с легкой руки Эндрю. Однажды Лили спросила, о чем книги его отца. «Субъект, объект и природа реальности», – ответил Эндрю. И она воскликнула: «Господи, да я понятия не имею, что это значит!», на что Эндрю заметил: «Представьте кухонный стол, когда вас нет на кухне».

И теперь, думая про работу мистера Рамзи, она всегда видела кухонный стол. Сейчас он застрял в развилке груши, поскольку они уже добрались до сада. Мучительным усилием Лили сосредоточилась не на бугристой коре дерева или похожих на рыбок серебристых листьях, а на воображаемом кухонном столе – одном из тех выскобленных дочиста деревянных столов, щербатых и узорчатых, чьи достоинства обнажаются с годами безупречной прочности, который торчал вверх тормашками, задрал все четыре ноги. Разумеется, если все твои дни проходят за созерцанием угловатых существ, если ты лишаешь себя прелестных вечеров с розовыми, как фламинго, облачками, небесной синевой и серебром, променяв их на белый стол с четырьмя ножками (ведь так поступают все лучшие умы), разумеется, тебя нельзя судить как обычного человека.

Мистеру Бэнксу понравился ее совет «подумать о его работе». Он и думал, причем часто. Много раз говорил, что Рамзи – из тех умов, что создают свои лучшие работы до сорока. В двадцать пять лет он внес значимый вклад в философию, написав маленькую книжечку, остальное – лишь дополнение к сказанному, повторение. Тем не менее число тех, кто вносит значимый вклад хоть куда-нибудь, очень мало, заметил он, останавливаясь возле груши – такой опрятный, безупречно точный, изысканно рассудительный. Внезапно, словно повинувшись движению его руки, весь запас накопленных Лили впечатлений о нем опрокинулся и хлынул мощным оползнем. Это было первое ощущение. Потом в клубах пыли проступила его истинная сущность. Это было второе. Лили поразила острота своего восприятия – взыскательности, нравственному величию мистера Бэнкса. Я вас уважаю (обратилась она к нему без слов) до последнего атома, вы ничуть не тщеславны, вы совершенно объективны, вы гораздо лучше

мистера Рамзи – вы самый лучший из всех, кого я знаю, у вас ни жены, ни детей (не испытывая сексуального влечения, она все же рвалась скрасить его одиночество), вы живете ради науки (ее взгляд невольно обозрел картофельные грядки), похвалы только оскорбят вас, такого щедрого, такого чистого сердцем, такого незаурядного! И в то же время ей вспомнилось, как он привез сюда лакея, как гонял с кресел собак, как нудно разглагольствовал (пока мистер Рамзи не выбежал из комнаты, хлопнув дверью) о содержании минеральных солей в овощах и о бездарности английских кухарок.

Что же получается? Как можно судить других, думать про них? Как можно складывать первое со вторым и заключать, испытываешь ты к человеку симпатию или неприязнь? И какой в итоге смысл нам вкладывать в эти слова? Лили Бриско застыла у груши, изнемогая под потоками впечатлений об этих двух мужчинах, и уследить за ее мыслью было все равно что пытаться записывать слишком быструю речь карандашом, а голос ее изрекал без подсказок извне неоспоримые, вечные, противоречивые истины, от которых даже складки и бугорки на коре груши неподвижно застывали навеки. Вам присуще подлинное величие, продолжала она, у мистера Рамзи его нет. Он мелок, самолюбив, тщеславен, эгоистичен, жена его избаловала, он – домашний тиран, он замучает миссис Рамзи до смерти; и все же у него есть то, чего нет у вас (обратилась она к мистеру Бэнксу), – пламенная отрешенность, он не разменивается по мелочам, он любит собак и детей. У него их восемь, у мистера Бэнкса – ни одного. А как он сидел вечером в двух халатах и миссис Рамзи стригла его на скорую руку, надев на голову форму для пудинга и обрезаю волосы по кругу? Мысли Лили исполняли причудливый танец, словно рой мошек – каждая сама по себе, при этом оставаясь связанными невидимой эластичной сетью, – метались в ее сознании, вились вокруг ветвей груши, где все еще висел образ выскобленного кухонного стола, символа ее глубокого уважения к уму мистера Рамзи, пока мысль, вращавшаяся все быстрее и быстрее, не разорвалась от собственной полноты, и Лили полегло; неподалеку раздался выстрел и прочь метнулась испуганная, суетливая, шумная стая грачей.

– Джаспер! – воскликнул мистер Бэнкс. Они повернули в сторону, куда полетели грачи, – к террасе. Следуя за стайкой стремительных птиц, они прошли через прогал в изгороди и столкнулись с мистером Рамзи, который проревел скорбным, звучным голосом:

– Допущена фатальная ошибка!

На миг его глаза, остекленевшие от накала страстей, встретились с их глазами и дрогнули, узнавая; он судорожно поднес руку к лицу, снedaемый желчным стыдом, словно желая прикрыться, отмахнуться от их обыденных взглядов, умоляя отдалить неизбежное, внушая им свое детское возмущение, что его так грубо прервали, но даже в момент разоблачения не спасовал, намереваясь держаться до конца, растянуть восхитительное переживание, непристойную рапсодию, пробуждающую одновременно стыд и наслаждение, – мистер Рамзи резко отвернулся, словно захлопнул у них перед носом дверь, Лили Бриско с мистером Бэнксом смущенно поглядели в небо и заметили, что стая грачей, которую спугнул своим выстрелом Джаспер, устроилась на верхушках вязов.

## 5

– Если завтра погода будет плохая, поедem в другой день, – утешила сына миссис Рамзи, бросив взгляд на Уильяма Бэнкса и Лили Бриско, проходивших мимо. – А теперь, – сказала она, думая, что все очарование Лили – в китайских раскосых глазках на маленьком личике, но оценить его способен лишь умный мужчина, – а теперь встань и дай померить твою ножку, – ведь на маяк они могут и поехать, и тогда нужно посмотреть, не довязать ли чулок еще на пару дюймов.

Внезапно ее осенила восхитительная идея – Уильям с Лили должны пожениться! Миссис Рамзи с улыбкой взяла пестрый чулок с четырьмя перекрещенными спицами у незаконченного конца и приложила к ноге Джеймса.

– Милый, постой смиренно, – попросила она, потому что ревнивый Джеймс не желал быть манекеном для сынишки зрителя и нарочно вертелся, а как иначе увидеть, короткий чулок или длинный?

Она подняла взгляд – что за бес вселился в ее младшенького, в ее любимца? – посмотрела на комнату, на кресла и сочла их ужасно потрепанными. Как выразился на днях Эндрю, из них потроха вываливаются, но какой смысл покупать хорошую мебель, чтобы она портилась тут всю зиму, если дом остается под присмотром одной старухи и буквально сочится влагой? Зато аренда мизерная, детям здесь нравится, мужу идет на пользу удалиться на три тысячи – если уж быть точной, то на три сотни миль от библиотек, лекций и учеников, да и гостям место найдется. Коврики, складные кровати, разваливающиеся кресла и колченогие столы – изгои, отслужившие в Лондоне свой срок, – здесь вполне годились, и пара фотографий, и книги. Их становится слишком много, думала она, не успеваешь читать. Увы, даже те, что подарили и подписали поэты – «Для той, чьи желания должны исполняться», «Счастливой Елене наших дней», – стыдно сказать, так и остались непрочитанными. Ни «Разум» Крума, ни «Обычаи дикарей Полинезии» Бэйтса (милый, постой спокойно, повторила она) на маяк не отправишь. Рано или поздно, полагала миссис Рамзи, дом настолько обветшает, что придется им заняться. Научить бы их вытирать ноги и не тащить песок с пляжа – уже хорошо. Крабов запрещать нельзя, раз Эндрю действительно так хочется их препарировать, и морские водоросли тоже, раз Джаспер полагает, что из них можно сварить суп, да и ракушки, камешки, тростинки Роуз; дети все такие одаренные, и каждый совершенно на свой лад. В результате, вздохнула миссис Рамзи, оглядывая комнату от пола до потолка, пока прикладывала чулок к ножке Джеймса, дом ветшает с каждым летом. Ковер выгорел, обои отстали от стен, уже и не видно, что на них за цветы. Если двери постоянно настежь и ни один мастер во всей Шотландии не может починить засов, вещи неизбежно придут в негодность. Какой смысл драпировать картинную раму зеленой кашемировой шалью? Через пару недель она выгорит до цвета горохового супа. Особенно миссис Рамзи раздражали двери – вечно нараспашку. Она прислушалась. Дверь в гостиную открыта, дверь в холл тоже; судя по звуку, и двери в спальни и, конечно, окно на лестничной клетке – она сама его растворила. Неужели так трудно запомнить, что окна надо держать открытыми, а двери – затворять? По вечерам она обходит спальни горничных, и везде окна запечатаны, как печные заслонки, кроме комнатки Мари, девушки из Швейцарии; та скорее готова обойтись без купания, чем без свежего воздуха, но ведь дома у нее горы красивые. Так и сказала вчера, глядя из окна со слезами на глазах. «Горы дома такие красивые». Там умирает ее отец, миссис Рамзи знала. Скоро они осиротеют. Девушка тихо заговорила, и миссис Рамзи внезапно утратила желание упрекать и широкими жестами показывать, как надо стелить постель, как открывать окно – изящные руки тихо сложились, словно крылья птицы, что влетела с солнечного света в тень, и синева перьев из ярко-стальной потускнела до темно-фиолетовой. Миссис Рамзи стояла молча, что тут скажешь? У отца Мари рак горла. Вспомнив

свою растерянность, слова девушки про горы и ощущение полной безнадежности, она рассердилась и резко одернула Джеймса:

– Стой спокойно. Хватит ерзать! – И тот сразу понял, что шутки кончились, выпрямил ногу и дал себя померить.

Чулок коротковат по меньшей мере на полдюйма, даже с учетом того, что мальчишка Сорли мельче Джеймса.

– Коротко, – вздохнула она, – слишком коротко.

Печальней ее нет никого на свете! В темных глубинах, вдали от света родилась горькая и черная слеза, родилась и упала в колодезь; воды качнулись, принимая ее, и успокоились. Печальней ее нет никого на свете!

Неужели все дело во внешности, удивлялись люди. Что скрывается за блеском ее красоты? Неужели он действительно вышиб себе мозги за неделю до того, как они поженились, – тот, другой, о котором ходили слухи? Или ничего не было? Ничего, кроме бесподобной и совершенно безмятежной красоты? Миссис Рамзи с легкостью могла бы признаться в момент откровения, когда рассказывают истории о великой страсти, о несчастной любви, о рухнувших надеждах, что и ей это знакомо и на ее долю тоже выпало, – но нет, ничего подобного она не говорила, всегда хранила молчание. Она все понимала, все знала, ничему не учась. Простота позволяла ей постигнуть то, в чем люди умные заблуждались, прямодушие заставляло падать камнем и взмывать птицей, набрасываться на истину словно коршун, что, конечно, радовало, облегчало душу, обнадеживало – даже если и незаслуженно.

(«Немного у природы той глины, – однажды заметил про себя мистер Бэнкс, изрядно тронутый ее голосом по телефону, хотя она всего лишь сообщила время отправления поезда, – из которой она вас сотворила». Он представлял ее на другом конце провода – синеглазая, с греческим профилем. До чего неуместно разговаривать с такой женщиной по телефону! Казалось, все три грации собрались вместе на лугах асфоделей, создавая ее лицо. Да, он успеет на юстонский поезд в десять тридцать.

«Осознает свою красоту не больше, чем дитя», – добавил мистер Бэнкс, положив трубку и подходя к окну взглянуть, каких успехов добились строители, возводившие отель на заднем дворе дома. Наблюдая за суетой у незаконченных стен, он думал о миссис Рамзи. Вечно гармонию ее лица нарушает какая-нибудь несурезица! То нахлобучит на голову охотничью кепку с двойным козырьком, то помчится по лужайке в галошах на босу ногу выручать попавшего в беду ребенка... Поэтому, если думать лишь о ее красоте, придется учитывать и трепетность, живость (рабочие понесли кирпичи наверх, поднимаясь по тонкой доске), включая в общую картину; если думать о ее женских качествах, придется мириться и со странностями характера (всеобщее восхищение ей претит) или же с подспудным желанием избавиться от своей поразительной красоты, словно та ей наскучила и она хочет стать незаметной, как все обычные люди. Он не знал, не знал. Пора вернуться к работе.)

На фоне шедевра Микеланджело в золоченой раме, слегка задрапированной зеленой шалью, миссис Рамзи с мохнатым красно-коричневым чулком смотрелась совершенно нелепо. Смягчив минутную резкость, она подняла голову и поцеловала сынишку в лоб.

– Давай-ка поищем другую картинку, которую можно вырезать, – сказала она.

## 6

Что же случилось?

*Допущена фатальная ошибка.*

Очнувшись от задумчивости, миссис Рамзи придала смысл словам, которые долго крутились у нее в голове, ни о чем не говоря. «Допущена фатальная ошибка»... Устремив близорукий взгляд на приближающегося мужа, она пристально смотрела до тех пор, пока его близость не открыла ей (в голове прозвучал звоночек): что-то произошло, кто-то ошибся. Она и не представляла, что именно могло случиться.

Он вздрогнул, его затрясло. Все тщеславие, все великолепие, с которым он, подобный молнии, свирепому ястребу, мчался вскачь во главе своих людей по долине смерти, – все разбилось вдребезги, сошло на нет. Под шквалом шрапнели и воем снарядов отважно скакала вперед вся бригада, долиною смерти, бряцая и сверкая саблями, – прямо в Лили Бриско и Уильяма Бэнкса. Он вздрогнул, его затрясло.

Она не заговорила бы с ним ни за что на свете, угадав по знакомым признакам – смотрит в сторону, лицо поджато, словно ушел в себя и нуждается в уединении, пытаюсь восстановить душевное равновесие, – что муж возмущен и страдает. Она погладила Джеймса по голове, передала ему то, что чувствовала к мужу, и, наблюдая, как он обводит желтым мелком белую сорочку джентльмена из каталога, подумала: как было бы приятно, если бы младший сын стал великим художником. Почему бы и нет? У него красивый лоб. Подняв взгляд на мужа, который прошел мимо еще раз, она с облегчением отметила, что горе утихло, привязанность к семье восторжествовала, заведенный порядок вновь вполголоса напевает утешительную мелодию, поэтому, когда мистер Рамзи, завершив очередной круг, остановился у окна, насмешливо склонился к Джеймсу и пощекотал голую ножку веточкой, она упрекнула его за то, что он отослал прочь «бедного юношу», Чарльза Тэнсли. Мистер Рамзи ответил, что Тэнсли засел за диссертацию.

– Джеймсу тоже придется засесть за *свою* диссертацию, – добавил он с иронией, слегка пощекотав.

Ненавидя отца, Джеймс отмахнулся от веточки, которой мистер Рамзи в свойственной ему манере, сочетающей жестокость и юмор, дразнил младшего сына.

Надо закончить канитель с чулками, чтобы завтра передать их малышу Сорли, сказала миссис Рамзи.

Нет ни единого шанса, что они смогут поехать на маяк завтра, оборвал ее мистер Рамзи.

Откуда ему знать? – спросила она. Ветер меняется часто.

Несусветная бестолковость ее замечания и женская глупость вывели мистера Рамзи из себя. Он промчался вскачь по долине смерти, он уничтожен и разбит вдребезги, а теперь она смеет перед лицом фактов заставлять его детей надеяться на то, о чем не может быть и речи, – по сути, говорит неправду. Он топнул по каменной ступеньке. «Черт бы тебя побрал!» – воскликнул он. А что такого она сказала? Завтра ведь может и распогодиться. Вполне.

Не может, ведь барометр падает и ветер восточный!

Добиваться правды с поразительным пренебрежением к чувствам других людей, срывать тонкий покров цивилизованности так безудержно, так грубо – миссис Рамзи ужаснулась столь кошмарному оскорблению человеческого достоинства и промолчала, сбита с толку и ослепленная, без единого упрека склонила голову, словно под ударами хлестких градин, мутных дождевых струй. Что тут скажешь?

Мистер Рамзи остановился подле нее. Помолчав, пообещал пойти и разузнать насчет погоды у береговой охраны, если ей так угодно.

Она уважает мужа больше всех на свете!

Миссис Рамзи сказала, что готова принять его слова на веру. Тогда бутерброды не понадобятся, вот и все. Вечно все у нее что-нибудь спрашивают, ведь она женщина, с утра до ночи то одному помощи, то другому, дети подрастают; часто она чувствует себя просто губкой, пропитанной человеческими эмоциями. Потом он говорит: черт бы тебя побрал! Пойдет дождь. Или говорит: дождя не будет, и сразу небо становится безоблачным. Она уважает мужа больше всех на свете. Да она шнурки недостойна ему завязывать!

Устыдившись своего дурного настроения и бурной жестикуляции во время атаки легкой кавалерии, мистер Рамзи смущенно пощекотал босые ноги сынишки еще раз и, словно с ее позволения, до странного уподобившись огромному морскому льву в зоопарке, когда тот куврыкается назад, получив свою рыбу, и вода в аквариуме качается так, что перехлестывает через край, нырнул в вечерние сумерки, крадущие цвет с листьев деревьев и живой изгороди, зато придающие розам и гвоздикам небывалый блеск, не свойственный им при свете дня.

– Допущена фатальная ошибка, – проговорил он вновь, расхаживая взад-вперед по террасе.

Как разительно изменился его голос! Уподобившись кукушке, что в июне мелодию меняет, а в июле улетает, он пытался найти осторожным перебором какую-нибудь фразу для нового настроения и за неимением другой использовал эту, пусть и такую надтреснутую. Звучит крайне нелепо, почти вопросительно, без всякой убежденности, зато мелодично. Миссис Рамзи невольно улыбнулась, и вскоре, конечно, он пропел свою фразу на ходу и умолк.

Опасность миновала, уединение восстановлено. Раскурив трубку, мистер Рамзи посмотрел на жену с сыном в открытом окне – так пассажир экспресса поднимает глаза от книги и скользит взглядом по ферме, дереву, домам, воспринимая их скорее как иллюстрацию, как подтверждение прочитанному на печатной странице, к которой возвращается укрепленный духом и растроганный; так и он, не разглядев хорошенько ни жены, ни сына, укрепился духом и растрогался; их мирный вид освятил его усилия: добиться полного и четкого понимания проблемы, требовавшей сейчас напряжения всех сил его блестящего ума.

Умом он обладал поистине блестящим. Будь мысль подобна клавиатуре рояля, разделенной на множество нот, или английскому алфавиту, где двадцать шесть букв идут строго по порядку, тогда его блестящий ум мог без малейших усилий пробежать эти буквы одну за другой уверенно и точно и добраться, скажем, до Q. Он достиг Q, что в Англии удалось немногим. Помедлив у каменного вазона с геранью, он увидел далеко-далеко – как дети, что собирают ракушки, божественно невинны и поглощены всякой ерундой под ногами, совершенно беззащитны перед участью, которую он давно осознал, – жену и сына, сидящих у окна. Им нужна защита, он дает им защиту. Но что же после Q? Что дальше? За Q есть много букв, и последняя едва видна взору смертных – сияет вдали красным. Z суждено достичь лишь одному из целого поколения. И все же, если он доберется до R, это будет серьезным достижением. По крайней мере, Q уже есть. Он уперся в нее руками и ногами. В Q он уверен. Q он доказал делом. Если Q – это Q, тогда R... Он выбил трубку, два-три раза звучно стукнув по ручке вазона, и продолжил. Тогда R... Мистер Рамзи собрался с духом, напряжился.

Качества, которые спасли бы команду корабля, очутившуюся в бушующем море с шестью галетами и бутылкой воды, – стойкость и справедливость, дальновидность, самоотверженность, ловкость пришли ему на выручку. Значит, R – а что такое R?

Шторка, похожая на кожистое веко ящерицы, заслонила его пронзительный взор и скрыла букву R. Во время секундного помрачения он услышал, что говорят люди: он неудачник, R – вне предела его досягаемости, ему никогда не достичь R. Вперед же, к R, еще разок! R...

Качества, которые в безлюдных полярных просторах сделали бы его главой экспедиции, проводником, советником, что преисполнен оптимизма, ничуть не унывает и невозмутимо смотрит в лицо неизбежному, снова пришли ему на выручку. R...

Глаз ящерицы сверкнул. Вены на лбу мистера Рамзи вздулись. Герань в вазоне стала отчетливо видна, и среди листьев он приметил, сам того не желая, давнее, очевидное различие между двумя типами людей: одни – упорные, энергичные, неутомимые, обладающие сверхчеловеческими качествами, занимаются своим делом кропотливо и усердно, проходят весь алфавит по порядку, все двадцать шесть букв, от начала до конца; другие – талантливые, вдохновенные, чудесным образом смешивают все буквы воедино – вот путь гения! Он на гениальность не претендует, зато у него есть или могут быть силы пройти каждую букву от А до Z по порядку. Пока же он застрял на Q. Значит, пора перейти к R!

Чувства, не опозорившие бы главу экспедиции, когда валит снег и вершина горы скрылась в тумане, и он знает, что ночью придется лечь на землю и умереть, овладели им, обесцветили радужку, превратив мистера Рамзи всего за пару минут, проведенных на террасе, в иссохшего, поблекшего старца. И все же он не умрет лежа, он отыщет выступ скалы и там, не сводя глаз с метели, до самого конца будет пронзать взглядом тьму и умрет стоя, так и не добравшись до R.

Он стоял неподвижно у вазона с геранью. В конце концов, сколько человек из ста миллионов, спросил он себя, достигают Z? Главе безнадежного предприятия позволительно задаваться подобным вопросом, не предавая участников своей экспедиции. Пожалуй, один – один из всего поколения. Виноват ли он, если это не про него, учитывая, что он буквально рвал жилы, старался из последних сил, пока те не иссякли? Долго ли проживет его слава? Даже герою позволительно перед смертью задуматься о том, сколько о нем будут помнить. Вероятно, слава протянет пару тысяч лет. Что такое пара тысяч лет? (Иронично спросил мистер Рамзи, уставившись на живую изгородь). Ничто, если глядишь с вершины горы на пространственные пустоши веков! Даже камень, который он сейчас пнул, продержится дольше Шекспира. Его собственный огонек погорит год-два и сольется с огнем побольше, и так далее. (Он вгляделся в кусты, в хитросплетение веточек.) Кто станет винить главу безнадежной экспедиции, которая все же умудрилась вскарабкаться достаточно высоко, увидела пустоши веков и гибель звезд, если перед тем, как смерть обездвижит члены, он поднимет онемевшие пальцы ко лбу и расправит плечи, чтобы поисковая экспедиция нашла его замерзшим на посту, как настоящего солдата? Мистер Рамзи расправил плечи.

Кто его осудит, если он задумается о славе, о поисковых отрядах, о пирамидах из камней, воздвигнутых над костями героя благодарными последователями? Наконец, кто осудит главу обреченной экспедиции, если, отправившись в величайшее приключение, растратив все силы до капли и уснув, не заботясь о том, проснется или нет, он теперь ощущает покалывание в пальцах ног и понимает, что жив и вдобавок нуждается в сочувствии, виски и слушателе, которому тотчас поведаст о своих страданиях? Кто его осудит? Кто втайне не порадует, когда герой снимет доспехи, встанет у окна и посмотрит на жену и сына, медленно подойдет ближе, еще ближе, пока губы, книга и голова не окажутся прямо перед ним, прелестные и незнакомые после глубокой отрешенности, пустоши веков и гибели звезд, и он наконец положит трубку в карман и склонит голову с пышной шевелюрой – кто его осудит, если он отдаст должное мирской красоте?

## 7

Сын его ненавидел. Ненавидел за то, что отец останавливается и смотрит сверху вниз, ненавидел за то, что мешает им читать, ненавидел за экзальтированность и величавость жестов, за пышную шевелюру, за взыскательность к другим и заикленность на себе (вот он стоит, требуя внимания), но больше всего Джеймс ненавидел звон и трепет эмоций своего отца, которые дребезжали вокруг, нарушая приятную простоту и гармонию его отношений с матерью. Пристально глядя на страницу, мальчик надеялся, что он уйдет; сердито указывая пальцем на слово, надеялся вернуть внимание матери, ослабевшее, едва отец остановился. Увы, ничто не могло сдвинуть мистера Рамзи с места. Он стоял и ждал, требуя внимания.

Миссис Рамзи, которая сидела, расслабленно обнимая сына, подобралась и, изогнувшись вполоборота, с видимым усилием привстала и выдала фонтан энергии – брызги полетели во все стороны; она выглядела необычайно воодушевленной и живой, словно в сверкающий фонтан хлынула вся ее энергия (хотя сама миссис Рамзи осталась сидеть, продолжая вязать чулок), и в эту восхитительную плодовитость, в эту жизненную струю вонзилось его гибельное мужское бесплодие, словно медный клюв, бесплодный и убогий. Мистеру Рамзи хотелось сочувствия. Я неудачник, сказал он. Миссис Рамзи сверкнула спицами. Мистер Рамзи повторил, не сводя глаз с ее лица, что он неудачник. Жена тут же отмела его сомнения. «Вот Чарльз Тэнсли...», – начала она, но этого было мало. Ему хотелось, чтобы она его утешила – сперва заверила в гениальности, потом включила в свой круговорот жизни, согрела и приголубила, вернула способность чувствовать, превратила бесплодие в изобилие, и в доме забурилась бы жизнь – в гостиной, кухне, спальнях, детских – пусть тоже оживут, пусть наполнятся жизнью!

Чарльз Тэнсли считает его величайшим философом своего времени, сказала миссис Рамзи. Этого недостаточно – ему нужно сочувствие, он должен быть уверен, что находится на пике славы, что востребован не только здесь – во всем мире! Решительно сверкая спицами, она создала из ничего гостиную и кухню, наполнила их светом; велела мужу расслабиться и походить туда-сюда в свое удовольствие. Она смеялась, она вязала. Между коленями матери неподвижно застыл Джеймс, чувствуя, как всю ее бушующую силу высасывает медный клюв, бесплодный ятаган, бьющий, не зная пощады, снова и снова, требующий сочувствия.

Я неудачник, повторил он. Лучше взгляни кругом, прочувствуй! Сверкая спицами, миссис Рамзи обвела глазами гостиную и сына, посмотрела в окно и своим смехом, своим самообладанием, своей уверенностью убедила мужа (так нянька, входя со свечой в темную комнату, убеждает капризное дитя), что все это – настоящее, дом – полная чаша, сад утопает в цветах. Пусть поверит ей безоговорочно, и ему ничего не страшно – в какие бы глубины он ни погружался, в какие бы выси ни устремлялся – она будет с ним каждый миг. Похваляясь способностью окружать заботой и защищать, мать выложились без остатка и уже себя не помнила; и Джеймс, застывший между ее коленями, ощущал, как она высится над ним фруктовым деревцем в розовых цветах, листьях и дрожащих ветвях, в которые снова и снова вонзается медный клюв, безжалостный ятаган его отца-эгоиста, требующего сочувствия.

Наполнившись ее словами, будто младенец, который насытился и отворачивается от груди, мистер Рамзи посмотрел на жену со смиренной благодарностью – подкрепленный, обновленный – и сказал, что немного прогуляется, понаблюдает, как дети играют в крикет. Он ушел.

И миссис Рамзи тотчас сникла, закрыла свои лепестки один за другим, в изнеможении опала, едва в силах водить пальцем по строкам сказки братьев Гримм, в то время как внутри ее пульсировал, словно в пружине, что растянулась до предела и теперь медленно сжимается, восторг успешного акта созидания.

Каждый удар этого пульса, казалось, окружал ее и удаляющегося прочь мужа, даруя обоим то утешение, которое дают две ноты, высокая и низкая, сливающиеся в унисон. Однако, едва последний отзвук погас и она вернулась к сказке, миссис Рамзи почувствовала не только физическую усталость (так всегда бывало немного погодя), но и слегка неприятное ощущение иного рода. Она и сама не понимала, читая вслух про рыбака и его жену, откуда оно взялось; не позволяла себе выразить недовольство словами и вдруг осознала, перевернув страницу и услышав глухой, зловещий шум опадающей волны: ей не нравилось, даже на миг, чувствовать себя выше мужа; более того, она не могла вынести, что не вполне верит в истинность своих слов. Миссис Рамзи ничуть не сомневалась, что университетам и публике он просто необходим, что его лекции и книги чрезвычайно важны, но ее тревожили их взаимоотношения и то, как открыто, у всех на виду он обращается к ней за поддержкой – люди скажут, что он от нее зависим, в то время как им следовало бы знать, насколько он бесконечно важнее, чем она, и то, что она дает миру, по сравнению с его достижениями просто ничтожно. Впрочем, сюда примешивалось и другое огорчение: она боялась говорить ему правду, к примеру, про крышу теплицы и расходы на починку – фунтов пятьдесят, наверное, или про его книги, и опасалась, как бы муж не догадался о том, что она смутно подозревала (вследствие разговора с Уильямом Бэнксом): последняя книга не вполне ему удалась; еще приходилось скрывать от него всякие повседневные мелочи, и дети это видели, несли бремя – и так сходила на нет вся радость, чистая радость двух нот, звучащих в унисон, и те отдавались в ее ушах с удручающей прозаичностью.

На страницу упала тень, миссис Рамзи подняла взгляд. Мимо прошлепал Август Кармайкл – именно сейчас, когда ей так неприятно вспоминать о несовершенстве человеческих взаимоотношений, ведь даже самые лучшие из них не без изъяна и не выдерживают проверки, которую она, при всей своей любви к мужу и стремлению к правде, им устроила; когда ей так неприятно уличить себя в недостойности и неисполнении своих прямых обязанностей – вся эта ложь, все эти преувеличения – именно сейчас, когда она растравила себе душу после самозабвенного восторга, мимо прошлепал мистер Кармайкл в желтых тапочках, и черт дернул ее осведомиться:

– Нагулялись, мистер Кармайкл?

## 8

Он не ответил. Он принимал опиум. Дети заметили, что у него борода перепачкана желтой настойкой. Похоже на то. Ей было очевидно, что бедняга несчастен, приезжает к ним каждый год в поисках спасения, и все же каждый год повторялось одно и то же: он ей не доверял. Миссис Рамзи говорила: «Я собираюсь в город. Купить вам марок, бумаги, табаку?» и чувствовала, как его коробит. Он ей не доверял. Наверное, из-за жены, которая обращалась с ним столь несправедливо, что миссис Рамзи буквально окаменела, когда в убогой комнатке в Сент-Джонс-Вуд своими глазами увидела, как злобно та выставляет его из дома. Он был неопрятный, неприкаянный старик, вечно роняющий еду на пиджак, а она выгоняла его из комнаты, заявив самым мерзким тоном: «Ну же, мы с миссис Рамзи хотим кое-что обсудить», и миссис Рамзи воочию представила бедственность его положения. Хватает ли ему денег на табак? Приходится ли выпрашивать у жены? Полкроны? Восемнадцать пенсов? Нет, думать о всех унижениях, которым его подвергает жена, просто невыносимо! И теперь он всегда (непонятно почему, разве что из-за жены) ее избегает, ничего ей не рассказывает. Но что еще она могла для него сделать? Ему выделили солнечную комнату, дети обращаются с ним хорошо. Ни разу миссис Рамзи не заставила его почувствовать себя нежеланным гостем и изо всех сил старалась с ним подружиться. Хотите марок, хотите табака? Вот книга, которая может вам понравиться, и все в таком духе. В конце концов... В конце концов (и тут она взяла себя в руки, внезапно осознав свою красоту, что случалось так редко) – в конце концов, обычно ей легко удавалось понравиться людям; к примеру, Джордж Мэннинг или мистер Уоллес, хотя и знаменитости, а приходят к ней без лишнего шума по вечерам, посидеть у камина и побеседовать наедине. Повсюду она несет светоч своей красоты, входит с ним в любую комнату; и в конце концов, как бы она ни старалась ее задрапировать или уклониться от опостылевшего бремени налагаемых ею обязательств, красота сразу бросалась в глаза. Миссис Рамзи восхищались. Ее любили. Она приходила к скорбящим, и те проливали доселе сдерживаемые слезы. В ее присутствии мужчины, да и женщины тоже, смиряться с очень многим, позволяли себе облегченно расслабиться. Миссис Рамзи ранило, что он ее избегает. Ей было обидно. И все же дело не совсем в этом, не совсем. Помимо недовольства мужем ее угнетало – особенно ярко она ощутила это в тот миг, когда мистер Кармайкл прошлепал мимо с книгой под мышкой и в ответ на вопрос лишь кивнул, – что он подозревает: все ее желание отдавать и помогать ближнему проистекает из тщеславия. Разве не ради собственного удовольствия она бросалась на помощь, чтобы люди говорили: «О, миссис Рамзи! Славная миссис Рамзи... Миссис Рамзи, ну конечно!» и нуждались в ней, звали в трудную минуту и восхищались ею? Разве не этого она втайне желала, и не потому ли, когда мистер Кармайкл ее избегал, вот как сейчас, устроившись в уголке и без конца повторяя акрости, она не просто чувствовала, что ее с пренебрежением отвергли, а осознавала мелочность – и свою, и человеческих взаимоотношений, ведь даже лучшие из них не без изъяна, презренны и эгоистичны. Видимо, постаревшая и усталая (щеки впалые, волосы седые), она больше не радуется глаз; пора сосредоточиться на сказке про рыбака и утешить этот комок нервов (из восьмерых он самый чувствительный), в который обратился ее сынишка Джеймс.

– На сердце у рыбака стало тяжело, – прочла она вслух, – идти ему не хотелось. Он сказал самому себе: «По-моему, так делать не следует», и все же отправился на берег. Пришел рыбак к морю, а оно потемнело, стало темно-синим и хмурым, уж не таким светлым и зеленоватым, как прежде, хотя еще и не волновалось. И позвал он рыбку...

Миссис Рамзи предпочла бы, чтобы муж не прерывал их на этом месте. Почему он не идет смотреть, как дети играют в крикет, хотя собирался? Но он ничего не сказал – просто окинул ее взглядом, одобрительно кивнул и пошел дальше. Видя перед собой все ту же зеленую

изгородь, которая неоднократно обрамляла паузы, соотносилась с его умозаключениями, видя жену с сыном и все те же вазоны с геранью, которая так часто украшала поток его мыслей и чьи листья хранили их, как клочки бумаги хранят записи, сделанные в разгар чтения – видя все это, он плавно переключился на размышления о толпах американцев, ежегодно посещающих дом Шекспира, навеянные статьей в «Таймс». Если бы Шекспир никогда не существовал, подумал он, насколько мир был бы другим? Зависит ли развитие цивилизации от великих людей? Улучшилось ли положение среднего человека со времен фараонов? Можно ли считать его тем мериллом, по которому мы судим об успехах цивилизации? Пожалуй, нельзя. Пожалуй, величайшее благо невозможно без существования класса рабов. Лифтер в лондонской подземке – неизбежная необходимость. Неприятная мысль! Мистер Рамзи вскинул голову. Следует как-нибудь принизить превалирующее значение искусства. Он докажет, что мир существует для средних людей, что искусство – всего лишь украшение, венчающее жизнь человека, а не выражающее ее. Шекспир для этого вовсе не нужен. Не зная наверняка, почему так хочет принизить Шекспира и прийти на выручку человеку, вечно стоящему у дверей лифта, он ожесточенно сорвал с живой изгороди листок. Все это можно преподнести через месяц юношам Кардиффского университета, подумал мистер Рамзи; здесь же, на своей лужайке, он просто роется в поисках пищи и устраивает пикники на траве (он отбросил сорванный в дурном настроении листок), словно всадник, который свешивается с лошади, чтобы нарвать роз, или путник, который набивает карманы орехами, гуляя в свое удовольствие по краю, знакомому с детства. Все здесь привычно – и поворот, и тропинка через луга. Так он и бродит туда-сюда часами, по вечерам, размышляя над трубкой, по старым дорожкам и выгонам, буквально загроможденным историями военных походов и биографиями государственных мужей, стихами и случаями из жизни, памятью о разных деятелях, философах и воинах – все очень явственно и четко, но в конце концов дорога, поле, выгон, усыпанный орехами куст и цветущая изгородь выводят его к дальнему повороту, где он всегда спешивается, привязывает лошадь к дереву и идет пешком. Он достиг края лужайки и посмотрел вниз на залив.

Такова его судьба, особенность его природы, хочет он того или нет, приходиться на полосу суши, медленно поглощаемую морем, и стоять в одиночестве, словно унылая морская птица. Таков его дар – мгновенно избавиться от всего лишнего, замкнуться в себе, утратив размах и стать, при этом сохранив остроту мысли, и очутиться на узком уступе один на один с тьмой человеческого неведения – ведь мы не знаем ничего, а море тем временем подтачивает полосу суши под ногами – такова его судьба, его дар. Спешившись, он отбрасывает все условности и мишуру, все трофеи вроде орехов и роз, уходит в себя, забывая и свою славу, и собственное имя, но сохраняет зоркость, столь нетерпимую к иллюзиям и праздным мечтам, и в таком обличье вдохновляет Уильяма Бэнкса (эпизодически) и Чарльза Тэнсли (неизменно), а теперь и жену (она поднимает взгляд и видит его на краю лужайки), вызывая в них глубокое почтение, жалость и еще благодарность, подобно тому, как засиженный чайками и терзаемый волнами столб, вбитый в морское дно, вызывает у пассажиров прогулочных лодок чувство благодарности за взятый на себя долг – обозначать глубину во время подъема воды.

– У отца восьмерых детей нет выбора, – пробормотал мистер Рамзи вполголоса, отвернулся, вздохнул, поднял глаза, нашел взглядом жену, читающую сказки его ребенку, набил трубку. Он отвернулся от зрелища человеческого неведения и человеческой участи, от моря, подтачивающего землю, на которой мы стоим; будь он способен созерцать сие зрелище более сосредоточенно, это могло бы принести свои результаты; и он нашел утешение в мелочах столь незначительных по сравнению с возвышенной темой прямо перед ним, что едва не пренебрег этим утешением, едва не отнесся к нему с презрением, словно для человека честного испытывать радость в мире, полном страданий, – наихудшее преступление. Надо признать, он по большей части счастлив, у него есть жена и дети, через шесть недель он поедет в Кардифф, чтобы «нести галиматью» про Локка, Юма, Беркли и предпосылки Французской революции.

По сути, он не добился того, чего мог бы, поэтому и удовольствие, и гордость за собственные слова, за восхищение юных почитателей, за красоту жены, за высокие оценки университетов Кардиффа и Суонси, Эксетера, Саутгемптона, Киддерминстера, Оксфорда, Кембриджа приходилось отвергать, скрывая за выражением «нести галиматю». Своего рода маскировка, утешение человека, который страшится своих чувств и не может сказать: «Вот что я люблю – вот кто я»; довольно убого и неприглядно, по мнению Уильяма Бэнкса и Лили Бриско, искренне не понимавших, почему он прибегает к подобным ухищрениям, почему постоянно нуждается в похвалах, почему человек, храбрый в мыслях, настолько боязлив в реальной жизни, и как странно, что ум столь блистательный одновременно столь смешон.

Учить и проповедовать – выше человеческих сил, рассуждала Лили, складывая свои принадлежности. Если вознесешься слишком высоко, непременно сломаешь себе шею. Миссис Рамзи чересчур ему потакает, сказала Лили, а потом он отрывается от книг и видит, что мы тут развлекаемся и болтаем всякую ерунду. Какой резкий контраст по сравнению с тем, что занимает его ум!

Мистер Рамзи двинулся к ним, резко замер, постоял, молча глядя на море, и снова отвернулся.

## 9

Да, сказал мистер Бэнкс, глядя ему вслед. Очень жаль. (Лили призналась, что он ее пугает – перемены его настроения слишком внезапны.) Да, повторил мистер Бэнкс, очень жаль, что мистер Рамзи не может вести себя чуточку приличнее, как другие люди. (Лили Бриско ему нравилась, и он мог обсуждать с ней мистера Рамзи вполне откровенно.) Вот поэтому, заметил он, молодежь и не читает Карлейля. Сварливый старый хрыч, который распаляется из-за остывшей каши, какое право он имеет нас поучать? Так рассуждает сейчас молодежь, по мнению мистера Бэнкса. Очень жаль, повторил он, ведь Карлейль – один из величайших учителей человечества. К стыду Лили, она читала Карлейля только в школе. Лично ей мистер Рамзи тем более симпатичен, что для него больной мизинец – просто конец света. Ее возмущает иное. Кого он обманывает? Неприкрыто требует лести, восхищения, его мелкие уловки довольно прозрачны. Что ей не нравится, так это его ограниченность, даже слепота, сказала она, глядя ему вслед.

– По-вашему, он ломает комедию? – осведомился мистер Бэнкс, тоже посмотрев на спину мистера Рамзи и думая об их дружбе, о том, что Кэм пожадничала дать ему цветок, о всех этих мальчиках и девочках, о своем собственном доме, таком уютном и таком тихом после смерти жены. Конечно, у него осталась работа... И все же ему хотелось, чтобы Лили с ним согласилась, признала, что мистер Рамзи ломает комедию.

Лили Бриско продолжала складывать кисти, то поднимая, то опуская глаза. Подняв взгляд, она увидела мистера Рамзи – он направлялся к ним вразвалочку, небрежный, ничего не замечающий, рассеянный. Ломает комедию? – повторила она. – Нет-нет, он самый искренний, самый правдивый, самый лучший; но, опустив взгляд, подумала: слишком углублен в себя, деспотичен, несправедлив; Лили нарочно продолжала смотреть вниз, ведь только так умела сохранять спокойствие в гостях у Рамзи. Стоит поднять взгляд и увидеть кого-нибудь из них, как тут же нахлынет непреодолимая «влюбленность», как она это называла, и ты станешь частью ирреальной, но такой проникновенной и восхитительной вселенной Рамзи – мира сквозь призму любви. Небо к ним так и льнет, птицы поют только для них. И еще более увлекательно, считала Лили, наблюдая, как появляется и исчезает мистер Рамзи, как миссис Рамзи сидит с Джеймсом у окна, как движется облако и качается дерево, что жизнь, слагающаяся из разрозненных эпизодов, которые проживаешь один за другим, закручивается в спираль, сливается в единую волну, подхватывает тебя и швыряет с размаху прямо на берег.

Мистер Бэнкс ждал ответа. Лили едва не сказала что-нибудь осуждающее про миссис Рамзи, про ее суетливость и излишнюю бесцеремонность или что-то в этом духе, и вдруг заметила, с каким восторгом мистер Бэнкс смотрит на хозяйку дома. С учетом преклонного возраста (ему исполнилось шестьдесят), чистоты, беспристрастности ученого в незримом белом халате, приросшем к нему навеки, это был именно восторг. Такой взгляд, заключила Лили, стоит любви десятков юношей (вряд ли миссис Рамзи довелось сразить столь многих). Это любовь, подумала она, делая вид, что поправляет холст, только дистиллированная и процеженная; любовь, ничуть не стремящаяся вцепиться в свой предмет; она подобна той любви, которую математики выражают символами, а поэты словами, и должна распространиться по миру, став достижением человечества. Так оно и есть. И мир бы ее разделил, если бы мистер Бэнкс смог внятно объяснить, чем эта женщина его прельщает, почему, наблюдая за тем, как она читает сказку сыну, он испытывает ровно те же чувства, что ощутил при удачном решении научной проблемы, когда сказал последнее слово о пищеварительной системе у растений, тем самым одержав победу над варварством и обуздав хаос.

Подобный восторг – как иначе это назвать? – заставил Лили совершенно позабыть, что она собиралась сказать. Ничего важного, что-то про миссис Рамзи. Все поблекло перед его

чувством, перед молчаливым взглядом, за который она была ему признательна, ведь ничто не утешает больше, не избавляет от жизненных невзгод лучше, не облегчает самым чудесным образом твое время, чем эта высшая сила, дар небес, и прерывать ее – все равно что заслонить полосу солнечного света, падающую на пол комнаты.

Отрадно видеть, что люди способны так любить, что мистер Бэнкс испытывает к миссис Рамзи подобные чувства (она покосилась на задумчивого старика). Нарочито небрежно Лили поочередно вытерла кисти о старую тряпку, прячась от благоговения, простирившегося на всех женщин, – она чувствовала себя причастной. Пусть смотрит, а она потихоньку взглянет на картину.

Лили едва не заплакала. Все плохо, плохо, бесконечно плохо! Она могла бы сделать совершенно иначе – цвета более тонкие и блеклые, контуры более размытые – сделать так, как увидел бы Понсфорт. Но она-то видит все по-другому! Цвет буквально пылал на стальной раме – цвет крылышек бабочки на сводах собора. На холсте от этого впечатления сохранилось лишь несколько случайных мазков. И никто на него не посмотрит, никто не повесит на стену, а в ушах звучит навязчивый шепот мистера Тэнсли: «Женщины не способны рисовать, не способны писать...»

Теперь она вспомнила, что собиралась сказать про миссис Рамзи. Точные слова позабылись, но явно что-то осуждающее. Прошлым вечером ее рассердила какая-то бесцеремонность. Проследив за взглядом мистера Бэнкса, она поняла, что ни одна женщина не способна восхищаться другой женщиной так же, как он; они могут лишь вместе укрыться под пологом, который распростер над ними мистер Бэнкс. К его лучу она добавила свой лучик, подумав, что миссис Рамзи, безусловно, прелестнейшая из людей (сидит, склонившись над книгой), пожалуй, лучшая из всех; и в то же время отличается от идеала, который в ней видят. В чем же отличие, насколько оно сильно, гадала Лили, очищая палитру от бугорков синей и зеленой краски, теперь казавшихся ей безжизненными комками, и поклялась себе, что завтра вдохнет в них жизнь, заставит двигаться, течь, выполнять ее приказы. В чем же отличие? Какая у миссис Рамзи душа – то главное, по чему без тени сомнения можно определить, что перчатка с перекрученным пальцем, забытая в углу дивана, принадлежит именно ей? Она проворна, как птица, прямолинейна, как стрела. Она своенравная, властная (конечно, напонила себе Лили, только по отношению к женщинам, к тому же я гораздо младше, ничего из себя не представляю, живу на Бромптон-роуд). Она открывает окна в спальнях, а двери закрывает. (Лили попыталась напеть мелодию миссис Рамзи, звучащую в голове.) Поздно вечером стучится в спальню, закутанная в старую шубку (всегда драпирует свою красоту небрежно, зато уместно), и изображает что угодно – как Чарльз Тэнсли потерял зонтик, как мистер Кармайкл шаркает тапочками и шмыгает носом, как мистер Бэнкс говорит: «Соли в овощах утрачены». Копирует она искусно, даже ехидно передергивает, а потом отходит к окну, делая вид, что ей пора – уже рассвет, солнце поднимается – стоит вполоборота, по-свойски, и все равно насмехается, твердит, что и Лили, и Мина – все должны выйти замуж, ведь какие бы лавры вы ни снискали (хотя миссис Рамзи плевать на ее живопись) и какие бы победы ни одержали (вероятно, на долю миссис Рамзи их выпало немало), и вдруг погрузилась, помрачнела, подошла к ее креслу, ведь бесспорно одно: незамужняя женщина (она легонько взяла Лили за руку), незамужняя женщина лишает себя самого лучшего в жизни! Казалось, дом полон спящих детей и хранящей их сон миссис Рамзи, приглушенного света и мерного дыхания.

Лили могла бы возразить: у нее есть отец, есть дом, и даже, с позволения сказать, живопись. Но все это казалось таким мелким, таким наивным. Тем не менее, пока ночь сходила на нет и за шторами разгорался белый свет, в саду время от времени начинали щебетать птицы, она набиралась отчаянной храбрости, чтобы объявить себя исключением из всемирного закона, убеждать миссис Рамзи, что ей нравится быть одной, нравится быть собой; она не создана для другого; готовилась выдержать пристальный взгляд бесподобной глубины и столк-

нуться с простодушной уверенностью миссис Рамзи (иногда она вылитое дитя), что ее милая Лили Бриско – просто дурочка. Затем, вспомнила Лили, она положила голову миссис Рамзи на колени и смеялась, смеялась, смеялась, смеялась почти в истерике при мысли о том, что миссис Рамзи с величавым спокойствием вершит судьбы тех, кого совершенно не понимает. Так она и сидела – простая, серьезная. Вернулось прежнее ощущение от миссис Рамзи – перекрученный палец перчатки. Ну-с, и на какую святыню мы посягаем? Лили Бриско наконец осмелилась поднять взгляд – миссис Рамзи совершенно не понимала, что вызвало ее смех, все такая же величавая, но уже без тени сумасбродства, вместо которого проступило нечто ясное, как просвет в облаках – кусочек неба, спящего подле луны.

То ли мудрость, то ли осознание? Или вновь обманчивость красоты, благодаря которой сбиваешься с мысли на полпути к истине, запутавшись в золотой сетке? Или миссис Рамзи замкнулась в себе, храня некую тайну, ведь без людских тайн, полагала Лили Бриско, мир просто рухнет. Не могут же все жить, как она, перебиваясь чем попало. Если знают, почему бы не сказать? Сидя на полу и обнимая колени миссис Рамзи, прижавшись близко-близко, улыбаясь при мысли о том, что миссис Рамзи никогда не узнает причину этого напора, Лили представляла, что в чертогах разума и сердца женщины, которая ее касалась, словно сокровища в королевской гробнице, хранятся скрижали со священными заповедями; если сможешь их прочесть, то научишься всему, но их никогда не предлагают открыто, никогда не предадут огласке. Каким образом, с помощью любви или обмана, можно проникнуть в те тайные чертоги? Каким устройством воспользоваться, чтобы подобно воде в сосуд проникнуть в предмет своего обожания? Способно ли тело или разум незаметно смешаться с запутанными извилинами мозга? Или изгибами сердца? Способна ли любовь, как люди это называют, сделать ее и мистера Рамзи одним целым? Сама Лили желала не знания, а единения, не заповедей на скрижалях, ничего, что можно написать на любом из известных человечеству языков, – она желала той близости, которая и есть знание, думала она, положив голову на колени миссис Рамзи.

Пока Лили так сидела, не происходило ничего – ровным счетом ничего! И все же она понимала, что в сердце миссис Рамзи хранятся знание и мудрость. Как, вопрошала она себя, узнать о людях хоть что-нибудь, если они такие закрытые? Разве только подобно пчеле, влекомой сладостью или остротой, разлитой в воздухе, неуловимой ни на вкус, ни на осязание, человек устремится в куполообразный улей, потом полетает в одиночку над разными странами и вновь вернется к ульям с их гулом и оживленностью; к ульям, которые и есть люди. Миссис Рамзи поднялась. Лили поднялась. Миссис Рамзи ушла. И еще долго вокруг нее витал легкий гул, едва уловимый, словно перемена в человеке, который тебе приснился, гораздо более отчетливый, чем все ее слова, когда она сидела у окна гостиной в плетеном кресле, сохраняя величественную форму – форму купола.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.